

ХЛЕБОРОБ ИЗ ГОРЬКОЙ БАЛКИ

МИХАИЛ УСОВ

ГЛАВЫ ИЗ ОЧЕРКА

1. МОЖНО ВИДЕТЬ В УНИВЕРМАГЕ

Не один раз побывал я на выставке живописи, графики и скульптуры в Ставрополе-на-Кавказе. Подолгу останавливался у полутораметрового портрета прославленного председателя колхоза. У его тяжелого бюста. Оказалось их несколько работ разных авторов. И чувство несогласия и досады, заявившие о себе еще при первом посещении выставки, не только не исчезло, а усилилось.

С огромного холста, заняв его снизу доверху, надо мною повисала фигура человека, облаченного в обычный костюм из пиджака с брюками. Из-под отложного воротника рубашки опускался галстук.

Такой костюм можно было видеть в универмаге, в любом магазине готового мужского платья, наконец, просто на прохожих. Тот же покрой и фасон, тот же цвет, та же фабричная марка. Костюм, как футляр, наглухо скрывал человека, придавал ему стандартный неживой вид.

Тогда я переводил взгляд выше — на голову, на лицо, ища в них живые человеческие черты, знакомый мне облик.

Короткая, под ежика, прическа... Да, у него так подстрижены волосы, — отмечаю мысленно. Многолетняя привычка со времен парубкования, о чем можно судить и по чубчику с зачесом набок.

Чуть вдавленные прибеленные виски, крупный нос, безусое и безбородое

бритое лицо, мясистые уши... Художники и скульпторы подметили все, были верны натуре. А несогласие мое усиливалось, переходило в критическое осмысление виденного.

Вот еще одно полутораметровое полотно.

На переднем плане клонятся редкие остистые колосья пшеницы. Человек за ними, вернее — над ними, выглядит посторонним, вышедшим на прогулку, а не на работу, ничем не связанным с колосьями, явно пририсованными бледными водянистыми красками. По замыслу художника, олицетворяющими пшеничное поле, — извечный символ хлебороба. Колосья тоже раздражают, они выглядят плоско, без выпирающих из пазух зерен.

Если бы художник на месте колосьев нарисовал цветущие ирисы, или флоксы, или канны, ничто бы не изменилось, все бы воспринималось по-прежнему: человек на прогулке, он ничем не озабочен. Даже деталь портрета — небрежно переброшенный через руку пиджак, как у занятого дачника, недвусмысленно подчеркивает характер состояния человека, его отключение от хозяйства и вообще от всяких дел. Что ему колосья?

Я хотел представить себе так знакомого мне человека отключенным от хозяйства, безразличным взором дачника оббегающего дозревающее пшеничное поле, все остальное, что составляет собой летний сельский пейзаж, — и не мог представить. Никакие мои усилия не помогали.

2. КРЕСТЬЯНСКАЯ БОЛЬ

На председательской «Волге» мы пылили на одном из наезженных проселков. По старинке, как было принято у терских казаков, зовут еще проселки «столбняками». Они «отстолбили» землю, отгородили, опоясали пыльными лентами поля.

— Кончылысь «коммаячки» земли, — как бы для себя, думая вслух, сказал Андрей Васильевич Чухно, глядя вправо.

Следуя повороту его головы,

приглядываюсь и я, хочу увидеть что-то приметное, чем-то отличающее этот рубеж.

Все та же темная, обожженная солнцем, земля. Побуревшая пшеничная стерня. Зеленое крыло лесополосы. Белое мелькание полевого луны...

— Граница наша,— доносится негромкий голос, и чувствуется в нем сквозь усмешку, добрую, улыбочивую, и гордость, и уважение крестьянина к земле.

Далеко позади осталась «граница». Мягко покачиваясь, «Волга» пылит и пылит ничем не отличимыми проселками — столбняками.

Когда Чухно весь подался вперед, горбясь, приник к стеклу, левая рука его вскинулась — знак шоферу об остановке.

Вслед за Чухно выхожу из машины. Он успел сойти с проселка на поле, то глядит себе под ноги, то вправо, то влево, то перед собой.

— Шо таке?— не обращаясь ни ко мне, ни к шоферу, сам себе задает вопрос. Качаясь, с трудом сохраняя равновесие, ступает с глыбы на глыбу, перешагивает рытвины. Снова балансирует на скособоченных, так и эдак торчащих огромных земляных глыбах, прихваченных, как изморозью, белым налетом.

— Шо цэ таке, га?— переспрашивает Андрей Васильевич. Удивление, смешанное с болью, накапливающая ярость в голосе.

Чухно — высокий, плечистый — любая дверь не для него, — стоит среди невиданного, ни с чем не схожего поля. Это поле словно сдвинуло и истолкло землетрясение. Выпучило здесь и там, провалило рядом, загромоздило и обезобразило тяжелыми, сохлыми глыбами с соляными выпотами.

Глаза видят только поле.

Поле?

Стоим, опустив руки.

Чухно, с усилием переступая, возвращается. Выйдя на проселок, он еще раз оборачивается к полю и глядит... глядит на него — истерзанное, страшное.

Глыбы, промоины, ямы, соляная бель.

— Загубылы землю,— сказал так, словно обращаясь к нам, как свидетелям

злодеяния.

— Загубылы. Э-эх!..

Махнул рукой.

Повернулся — огромный, и, сутулясь, на свой манер пришаркивая ногами, подошел к машине.

— Тут рис був, помнышь? — сидя рядом с шофером, обратился к нему.— Рис якый добрый був,— и не сдержался, широко улыбаясь, удовлетворенно покачал головой.— Богато тоди воны того рису намолотылы, центнеров чуть ли не по тридцять шисть. Даже бильше. Шо я: бильше!

Вспоминать ему об этом, какой рис уродился у соседей, было очень по душе. Но вдруг лицо его омрачилось, стало жестче. Видимо, перед ним вновь предстало истерзанное поле.

— Ни трактора того, ни коней, ни быкив не загнать сюды, ни-и — все пообломаешь. Цэ так.

Качнул тяжелой головой.

Из разговора выяснилось — колхозники ближней станицы высевали рис. На поливную воду соседям повезло. Может, полное отсутствие опыта,— ведь никогда здесь в степи не сеяли рис, а может, иное — неуважительное, рваческое отношение к земле — сегодня гребанем, а там будет видно!— вызвали водную эрозию и засоление.

— А рис якый добрый був! Доходна культура,— и вслух начал подсчитывать выручку от продажи риса. — Добри гроши дае.

Припомнил случай в пути, и крестьянская, мужичья боль старого председателя за истерзанную, загубленную землю пронзила меня. И долго не мог освободиться от томительного, угнетенного чувства. Слово я лично повинен, не доглядел.

3. КАЖДОЕ ПОЛЕ ДОРОГО, КАК РЕБЕНОК В СЕМЬЕ

Горькая балка...

Степь не безлика, не безымянна. Вот и эта обширная впадина с пологими склонами у «Коммунистического маяка», почти сплошь распаханная, есть исток

Горькой балки. Уходя на юго-восток, где-то она затеряется, неприметно сольется с равниной, с другими балками, чему общее имя — степь.

Почему же — Горькая?

Говорят — тому причиной вода. Но село славится пресноводными артезианами. Может, тяжело было первым заселенцам — не доходила их лопата до сладкой воды? От горькой же, соленой, с тухлинкой отворачивали морды кони, натужно мычали коровы, тонкими младенческими голосами блеяли овцы.

С горем, со слезами земля.

Суховеи сжигали хлеба. Зимой, в бесснежье — вымерзали.

Где село — стояла помещичья усадьба Карпушина. Зеленой тучей вздымались тополевы вершины с грачиным граем.

Помнит Чухно бородатого, с колючими глазами старика, самого Карпушина. Было подростку четырнадцать лет, когда привез сюда на художонной бричке отец всю большую крестьянскую семью из одиннадцати душ. Где-то в предгорьях отчадили головешки от хаты, разорен хутор. Брошен хлеб. Довелось еще на чужой стороне в Горькой балке побатрачить и отцу и детям на Карпушина. Здесь еще все — земля, пастбища, овечьи отары, гурты скота, хутора — были Карпушина.

Где он, Карпушин? А суховеи, бездожде, бесснежье — остались. И лютоści у них не отбавилось.

Суховеи...

Всякие бывают ветры летом и зимой, — тихого, безветренного, не то что года или хотя бы месяца, недели не припомнит Чухно. Да и как им быть, тихим дням, когда степь — что дом без окон, без дверей, без потолка и крыши, — отовсюду сквозняки, всюду дует. То посильнее, то послабее, вся разница. Но суховеи — самый вредный, самый подковыристый, от него лишь раззор полям.

И ты скажи, время-то выбирает, как на грех, такое, когда пшеничному стеблю и влага и покой позарез нужны, без чего ему ни колоса выметать, ни налить зерна. В апреле, в мае, а то в июньскую пору налива

зерна, вскинется, как пес, с востока. Сухой, пыльный, злобный, от него не жди облегчения, прохлады. Он сушит, выжигает, испепеляет. Живое делает мертвым.

Порывы его не стихают до вечерней звезды. Дня ему мало — дует, гудит ночь напролет. Приукоротится перед рассветом — и опять дует... дует... дует...

Всердцах хлеборобы прозвали его «губатым».

— Який же, дует-дует и губа не отсохнет!

Слиняет, выгорит небо — куда синева денется! Будто метлой сметет облака. Пропадут чистые росы: обойди степь — капли не сыскать. Истощают и сникнут пшеничные стебли, станут тонкой соломинкой. Исхудает колос. Не зерно в нем — пустая шелуха.

Где семян взять? Что на мельницу везти?

Словно хворь войдет в каждую хату — молчат, сутулятся люди. Ни свет, ни заря, ни близ полночи не услышишь на улице песни, переборы гармошки. Оскуденье во всем.

Что с землей, с пашней делается? От суховея спеклась в камень. Плуг не берет, со звоном выскакивает и поверху скребет. Что лемехов порвешь, изломаешь — счету нет. Кузнецы рук не чуют, отбивая лемеха.

Чухно парубком бегал в кузню — скидывал кувалду, грохал по белоогненной искристой болванке, плющил — отбивал. Зарей становился к наковальне — зарей отходил от нее: не считали, сколько часов отработали, а сколько лемехов отковали пахарям. И сейчас на председателивы ладони, на пальцы глянешь — будто лемехи расплющены. Это — руки молотобойца.

С тех далеких ребячьих дней, а вернее, еще раньше — от батьки, от деда передалась Андрейке, крепко-накрепко пригвоздилась дума о богатырском зерне, небывалом сорте пшеницы. Все выстраданное, накипевшее, все надежды и упования, как солнечные лучи в фокусе, были собраны в неистовом желании — отыскать, завладеть сказочной пшеницей.

Ей не страшен суховеи.

Она выстоит знойные, изнуряющие все живое ветры.

Добудет из сохлой почвы, из ночной прохлады влагу для хлебного зерна.

Андрейкина дума не уходила, не терялась с годами. Как уходит, как теряется многое с возрастом, с возмужалостью. Когда люди остепенятся, станут рассудительными, когда ко многому приглядятся и обвыкнут. Плетью, мол, обуха не перешибешь. Не нами началось — не нами кончится. Подул суховея — ставь богу свечку подлинней.

Возраст не мешал мечтать — думать о невстреченной еще пшенице. И то сказать, при любой засухе, при лютом-прелютом суховея подбирали в поле среди тысяч мертвых колосьев здоровые с живыми зернами: посеяй их осенью — не налюбуйешься на бархатно-зеленые всходы. Примечено это было и Андреем, и его батькой, и многими хлеборобами Горькой балки.

Набрать бы чудо-семян! Крупных, кремнисто-твердых, прокаленных солнцем.

Да где их столько соберешь? Поле велико, отыщи-ка среди пустоколосья чудо-семена! Да не на погляд, а чтоб набить чувалы, засыпать амбары!

Припомнит Чухно — засмеется и покачает головой. По-молодому заиграют, заискрятся глаза, разгладятся морщины.

...Двадцати четырех лет поставили его односельчане председателем колхоза, тогда коммуны. «Не робь, гуртом поддержемо!» — прокричали мужики и бабы со скамеек. Было это в далеком 1928-м. И с того года не сменяют. Когда действуя «под гребенку», прихватили и его по огульному обвинению, то стоило Чухно спустя полтора года вернуться из заключения, как колхозники тут же поручили ему председательство. «Ще себе так знаемо, як тебе, Андрий Васильевич! Зиждалысь, ей-ба зиждалысь, нема у нас ладу: пять председателів без тебя тут скинули. А про те, про лыхо, шо сотворылось,— ни мы, ни диты наши не помянуть».

Так и работает. Трижды побывал в депутатах Верховного Совета СССР. Стал Героем Социалистического Труда. С

сельскохозяйственной делегацией посетил Индию и Венгрию. Не одну иностранную делегацию встречал в колхозе хлебом-солью. Пока был Комитет по делам колхозов при Совете Министров СССР — был его членом. Сейчас — в комиссии по выработке нового Устава сельскохозяйственной артели. На днях лишь вернулся с ее заседания, в Москве.

Для него все живо, все памятно: и переход коммун на Устав сельскохозяйственной артели, и первые керосиновые тракторы на улице и в поле, и никогда не отапливаемые избы-читальни и ликбезы в красных уголках, а то в селянской хате, и гуртование мелких артелей в крупные, и первый без дыма, без запаха электрический свет в саманной хате, и эмтээс. И все-все, что дальше последовало.

Для него это — не просто история, о чем узнают из книг, из учебников, а лично пережитое. Совершалось при его участии, было его радостью, его кровным жизненным делом.

Кто знает, сколько забот неснимаемым грузом легло на председателевы плечи? И первой — забота о хлебе. Нет большей радости для него, чем видеть пшеничное поле. Много их в колхозе, и каждое дорого, как ребенок в семье. Председатель знает, как трактористы взлущивали стерню, как пахали поле под зябь, как, пыля опущенными сошниками, двигались сеялки с железными зигзагами борон позади. Его довольные глаза примечали зеленые клювики всходов, а сердце тревожилось — нет ли гессенской мушки? Не появится ли еще какая-либо напасть?

Ох, сколько жадных ртов до пшенички, когда она зелена и когда созреет! И с виду безобидные мушки, и расфранченные жуки-кузьки, и плоские клопы-черепашки, и пилильщики, и махонькие долгоносики — кажется, не пересчитать всех. А за ними грызуны — полевки, суслики, хомяки. И все это — летающее, ползающее, скачущее норовит набить себе брюхо или пшеничным стеблем, или мучнистым соком, или зерном.

Пока весна, пока май — председатель неспокоен. И хотя барометр на стене, а он глянет на него, легонько стукнет по стеклу ногтем и отведет глаза к окну, присматривается к погоде, к тому, как выглядит заря, — не к ветру ли? Авось обойдет беда, не задует суховей.

Кажется, обошлось. Вот-вот выгонять комбайны. А тут среди дня ударила гроза с градом. Опередела, отмолотила на корню не одно поле.

Нелегко ты даешься, крестьянское счастье — простой хлеб!

4. ГДЕ ОНА, БОГАТЫРСКАЯ ПШЕНИЦА?

С приходом первого агронома, а им был Павел Иванович Нестеров, начался подбор пшеничного сорта.

Бритоголовый с калмыцкими чертами широкоскулого лица, с короткими жесткими усами, он ничем не выделялся. Ничто в нем внешне не изобличало человека интеллигентного. Может быть, не на одну голову выше тех, среди кого он жил и работал.

Такой же темно-коричневый загар. Тот же в морщинках прищур глаз под редкими выгоревшими белесо-рыжими бровями. Крепко сжатые, неразговорчивые губы. Бритый, часто в щетине, подбородок.

Брились нечасто — по воскресеньям да праздникам, да еще когда бывали по делам в городе, заодно в таком разе и стриглись в парикмахерской. Возвращались домой помолодевшими на радость женам: «Теперь и нам не грех подчепуриться, а то за себя забыли».

Пахали на лошадях, на быках — Нестеров с пахарями. Перешли на никогда невиданную пахоту тракторами — Нестеров с трактористами. Он шагом неспешно обошел поля, да не раз, не два. Знал, что и где посеяно, где скорей выгорают посевы, а где держатся и в страшную сушь.

При нем, по его настоянию, было затеяно землеустройство. Началось чередование культур, то, что зовется правильным севооборотом. Приступили к ограждению полей гледичией и белой

акацией, к закладке лесополос. Любой саженец выхаживали, как малое дитяtko. Артезианской водой поили из бочек.

Признав в нем человека ученого, больше, чем они, знающего, умеющего все по-крестьянски делать — запрячь ли коней, отрегулировать ли сеялку на пашне, а молотилку — на обмолоте зерна, и многое другое, — перестали косо оглядывать агронома даже самые обозленные на новизну старики. Обращались по имени-отчеству, за честь почитали видеть его у себя в хате за праздничным столом. Хотя не прочь были при случае во хмелю или трезвом виде поддеть агронома Ильей пророком, у кого все дожди в руках. «Вот бы вам, Пал Ваныч!» Пал Ваныч не менял калмыцкого выражения лица, может, у глаз резче прорезывались морщинки с лукавинкой ли, с горечью?

Чухно увидел в Нестерове единомышленника в поисках не встреченного еще сорта пшеницы. От него узнал, какой долгий путь проделало зерно от дикого своего состояния в природе до мужичьего поля, как из мелкого стало таким, каким его сейчас видим. Сколько времени и труда ушло на прибавку мучнистости зерна, чтобы в нем было больше белка, больше клейковины. Каким многообразием сортов пшеницы — их тысячи — обладает современное мировое земледелие. Что такое селекция зерновых, чем мы ей обязаны.

Это было незаметное в повседневии обучение его, председателя, основам агрономической науки.

Чухно пришлось листать непокорные бумажные листы, морщить лоб над книгами. Сколько преград вставало! Еще не перевернет прочитанный лист — глаза вдруг теряют строчку, тяжелеет голова. И не всегда справлялся с сонной одурью председатель, часто она с подхрапом валила его голову на стол. После сокрушался — книжный лист не навильник, не сноп, а одолеть тот лист потруднее.

Понадобилось учиться с отрывом от хозяйства, от дома. Сдавать экзамены со всеми их хлопотами и тревогами. Получать с чувством ни с чем несравнимой гордости

диплом агронома. Увидела бы мать, увидел бы тот диплом батько!

И тогда, и после, спустя много лет, он всегда благодарно вспоминал о Нестерове, кто первым показал ему силу агрономической науки, ее великую пользу для таких, как Чухно, как его односельчане.

Тогда он сердцем почувствовал, что его мечта о богатырской пшенице, не склоняющей колоса перед суховеями, — не пустое занятие, недостойное взрослого человека, председателя колхоза. Сознанием он понимал — надо только не превращать ребячью мечту, мечту всей его жизни в праздномыслие, в фантазерство для фантазерства, ничем не подкрепленное и ни с чем не связанное.

«Треба робыть, робыть треба! — подстегивал он себя. — Треба шукать, дә тилькы можно, новый сорт!»

И колхоз связывался с селекционными станциями. Отводил опытные участки для опробования и проверки перспективных сортов, определения их пригодности в суховеинной степи. Связывался с агрономическими факультетами сельскохозяйственных институтов. Выписывал литературу. Чухно не чурался заглянуть к соседям, а то и подальше, если прознавал про незнакомые сорта высокой урожайности. Не чурались и его помощники — Юрий Алексеевич Бочарников, Валерий Гаврилович Козлов, оба молодые, рослые, подстать Чухно, оба непоседливые и приглядчивые, оба с дипломами специалистов. Обоих их выглядел председательский глаз, отличил от остальных одногодков еще в ребячьи годы. Доглядывал по-отцовски, не скрывал — кого из них хочет он, хотят колхозники видеть у себя дома, в «Коммунистическом маяке».

— Тилькы старайтесь, учитесь, хлопци, а нам не вик коло вас быть.

Сколько раз всходила, радуя хлеборобов, зеленая озимь! Молодела и хорошела степь.

Сколько раз жаркое лето кованой медью покрывало поля! Как из жаркой печи шел сытый хлебный дух.

И ни один пшеничный сорт не стал тем, кого так искали. Кто бы удивил и

возрадовал хлеборобов своей стойкостью, своей силой, кто бы выстоял перед суховеем. Правда, при мокрой весне, и мокрой осени, а то и одном-двух стогромовых майских дождях, что зовутся золотыми, — было что насыпать в мешки. Любой сорт пшеницы — меньше ли, больше ли — давал урожай. Но перед суховеем все они оказывались безоружными.

В преклонных летах умер Нестеров. Сколько людей, обживших Горькую балку, провожали его на кладбище, не таясь кропили слезой землю. Гроб бережно несли на рушниках через загорелые до черноты шеи трактористы, молчаливые, будто безглазые от тяжело опущенных век. Безглазым, пришаркивая ногами, медленно шел председатель, держа расплюснутыми руками конец рушника через шею, через плечо.

Потеряв первого учителя, Чухно словно вобрал и его упорство в поисках все еще не встреченного сорта. Иной раз взропщет «на агрономию, на ту селекцию», что медлят. Озлясь, отводя душу, по-мужичьи крепко ругнет. И тут же спохватится — одним, двумя ли годами много что сделаешь в селекции хлебного злака? Время, требуется время!

Главным агрономом стал Иван Павлович Гнездилов — внешне, по обличию интеллигентный горожанин: небритым его никто не видел и в будни, загар его избегал, разве, что нос зашелушится, хотя новый агроном не сидел, как приклеенный к столу. Лишь в жару среди лета обходился он без костюма, — заявлялся на работу в рубахе, заправленной в брюки, с аккуратно продетым через петли ремненным узким поясом. Как брюки и пиджак, так и рубаха выглядели отменно чистыми, любая складочка старательно отутюжена, хоть сверяй по линейке. Манжеты на рукавах прихвачены запонками. Легкая с незахватаемыми полями шляпа прикрывала сидящую голову.

Шляпы у мужчин были в редкость. Завидев Гнездилова на улице, сельские ребятишки изумлялись: «Гля — дядько, а в шляпи-и!..»

Чухно приметил Гнездилова в бытность его главным агрономом Орловской МТС. Не сразу уломал перейти в колхоз. Помогла реорганизация МТС. За городской внешностью Ивана Павловича он разглядел опытного агронома, хорошо сведущего в экономике земледелия. И что сильнее всего сблизило их, так это любовь к пшенице и обоюдная одержимость в поисках урожайного сорта.

Теперь сразу испытывалось по семь, по девять сортов озимой пшеницы, да не на аршинных делянках, а на опытных полях.

Семена доставали отовсюду — из Ставрополя, Одессы, Краснодара, Сальска...

Взаимным уважением прониклись селекционер П. П. Лукьяненко и хлебороб из Горькой балки А. В. Чухно. Когда-то безвестный еще Лукьяненко недолго работал научным сотрудником Ставропольской селекционной станции. К тем дням, возможно, относится начало знакомства, а может, и раньше: молва о «Коммунистическом маяке», его председателе шла по Северному Кавказу, докатывалась до селян Украины и Белоруссии.

— Чухно дам, — говаривал Лукьяненко, услышав просьбу поделиться перспективными семенами пшеницы его селекции. И не один сорт, выведенный им на полях Кубани, вплоть до всех номеров безостой, высевался на вечно жаждущей коммаяцкой земле.

Верил ученый — Чухно не обезличит семена, посеет и уберет в срок, оценит без подвоха, без фальши.

А Чухно нутром хлебороба-степняка почувствовал в Лукьяненко ученого, чью жизнь нельзя разнять от земледелия, кто подвижнически отдал себя труду селекционера, кто настойчиво шел к поставленной цели.

«Цей добыється!» — крепло убеждение.

И всходили лукьяненковские семена одно к одному, и кустились густо, и перезимовка их мало изреживала.

С приходом вешних дней чаще навевывались на поля с безостой пшеницей и председатель и главный агроном. Чаще спрашивали у бригадиров, у трактористов:

«Ну, як новенька?»

Новенькая росла.

Пошла в трубку, а из трубки — в колос.

Поле густело.

Подошло цветение, следом — налив зерна.

В такое время без уговору стараются не задавать вопросов, а думают все — от председателя до тракториста — об одном: о погоде, обойдется или не обойдется без него? Даже слово «сухovej» лишний раз избегают сказать вслух. И редко обходится без него. Только не каждый год он в одну силу и в одно время — и в том спасение.

5. СОЛНЕЧНОЕ ЗЕРНО

В 1961 году окончательно склонились сердца у Чухно, у Гнездилова к новенькой. За нее и молодые — Бочарников и Козлов. За нее бригадир Клешня. Кажется, все правленцы. Но кто-то и гмыкнет, а кто поскребет ногтем чуприну... Знает, о как знает председатель эти невысказанные свидетельства мужиковской опаски, притаенного несогласия. Знает и то, как неизбежен переход к сплошным сортовым посевам. А новенькая дает больше всех зерна.

Осенью «безостая-один» заняла все поля для пшеницы. Лишь малая часть была засеяна одесским сортом, дающим много соломы. «Фермам треба», — с этими скупыми словами Чухно согласилось правление. Солома шла не на одну подстилку, не только в топку заодно с кураем, она в тяжелую зиму малопитательной клетчаткой сберегала скот до весны.

Ладная вышла та осень, — запомнилась она Чухно, — глаз нельзя было отвести от веселых зеленых разливов до горизонта. Ночи напролет жировали русаки и зарей укладывались на дневку тут же на озими. Против обычного, косые ложились густо — их вспугивали по пять штук на поле от лесной до лесной гривы. Кормные, с темно-курчавым ремнем на спине, от головы до хвоста, русаки нехотя оставляли угретую ямку. Молодняк вползайца выкатывался из-под ног даже в октябре, до самого предзимья.

Чухно лишь крякал, потирая руки будто с остуды, глянув накоротке на двустволку. Да все было недосуг снять ружье со стены — откладывал до белой пороши.

Зима выдалась без сугробов, нечего было наскрести снегопахам. Лишь у лесополос белели надувы. Ночами крепчал мороз, но не оборачивался для озимых бедой. Вот и пошли они с первым теплом в рост. На что глазаст ястреб, все насквозь видит, а и тот не приметит серую перепелку в апрельской пшенице.

Те ветры, что срывались весной, что дули летом, — не несли песок и пыль, не наметали земляные кучи вдоль лесных посадок, не засыпали деревья наполовину, а то и до маковки, не надували завалов у хат и оград. Дожди не обходили Горькую балку, чаще грозовые. Были ночи, когда ни проснись,— за окном ослепительные вспышки молний, по небу громовые перекаты.

Фронтвики звали это авиационной и артиллерийской подготовкой. «Це наши дають»,— кивали они на гремящее, на бухающее в огненных отсветах небо и лезли в карманы за куревом, торопились сделать табачную затяжку. Должно быть, старым солдатам никогда не избавиться от того, что они пережили на фронте, на его переднем крае.

— Засили, кажу вам, с нашою машиною на дорози. Трактор вытяг, — делится новостями председатель, и ни одна огорчительная нотка не звучала в его словах: дождь здесь всегда дорог, обижаться на дождь грех.

Подскочила страда.

Еще утром изжелтевшее поле выглядело нетронутым, а в полдень через него легли прокосы.

Все примечает председатель, ничто не ускользнет от него. Еще день, два — и выйдут на прокосы жатки.

Вроде бы только подумал, а уже, рокоча, тянет за собой первую жатку трактор. Подале сцепом их трех жаток валят пшеницу. Гул слышится и за лесополосой, и за косогорьем вправо. Поодиночке, а чаще парами, еще без молодняка, носятся горлинки. Вчера их

вспугивали с проселков да с телеграфных проводов, сегодня же они колотятся по жнивью с пшеничными валками.

Чухно и шляпу скинул с головы, и пиджак с плеч, и ворот рубашки расстегнул. Стучаются об автомобильное стекло большеглазые овода — им бы конячье брюхо, коровий бок.

Сырой с утра валок — хрустит в обед.

Торжественно, своим ходом поплыли красно-кирпичные комбайны, заглатывая метр за метром пшеничный валок.

Шоферы — не только свои, но и пришлые — не управлялись отвозить зерно на бригадные тока, на Аполлонский элеватор. Вдруг тонко-тонко, ребячьим фальцетом засвистит комбайн с переполненным бункером. Председателю тот неутихающий свист, как крик о помощи,— не проскочит мимо.

Понадобилось накидывать хомуты на потные конские шеи, вскачь гнать бестарки.

Старики, лопухие ребята и девчонки в нехитром звании возчиков держатся капитанами на своих повозках-тарахтушках. Солидность поручения возвышала их в собственных глазах — они пришли на выручку шоферне. Повернув кепку козырьком на затылок, выставив в стороны острые локти, не садясь, а стоя на бестарке, пацаны с гиком пускали на весь мах сытых, играющихся коней.

— И-и-э-э-эх-х!

Председателю запыленную «Волгу» видят вроде сразу на всех проселках-столбнях. Видят у многотонных весов, у комбайнов. Может, когда и проскочит, но мимо полевого тока — ни за что. Сильнее, чем магнит железо, притягивают Чухно пшеничные курганы и хребты, тяжело осевшие вдоль обочины дороги.

Вот она, новенькая!

Безостая.

Какое ни с чем не сравнимое ощущение зарыться рукой в сыпучую толщу прогретого насквозь зерна. Словно живое, оно обдаёт теплом пальцы, ладони, поддается под нажимом, упруго трется о

кожу, обхватывает все плотнее руку.

И никак не пройти, чтобы не зачерпнуть ладонью, как совком, это теплое солнечное зерно, почувствовать его тяжесть, поднести пшеницу к глазам, чтобы увидеть каждую зеринку. И, не сдержавшись, набить рот. С трудом, одно за другим разжевать сухое зерно и вкусить пресную сладость нового хлеба. И, чувствуя его сладость, благодарно вспомнить селекционера, пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Деды в кепках — сыновних подарках, подслеповато глядя на колхозный ток с пшеничными хребтами, где шумят зерноочистительные машины и транспортеры, загружающие кузова с наращенными бортами, — беззвучно посмеиваются сморщенными лицами, покачивают вправо-влево головами: «Эх-хе-хе, техника! А бывало, все-то рукамы, все-то рукамы». И будто впервые видя, вытягивают перед собой костлявые мослатые руки с полусогнутыми, в шишках пальцами: «Ышь, грабли, чысти грабли!» — и все покачивают удивленно и горестно седыми головами, беззвучно, слегка расщепив губы, смеются.

«Эх-хе-хе».

В то лето безостая с каждого из пяти с половиной тысяч гектаров щедро выдала по двадцать шесть с половиной центнеров зерна. В пудах — по сто пятьдесят восемь.

Малoverы,— а они в любом деле окажутся,— были посрамлены. «Всегда бы так,— чувствуя себя именинником, подкалывал малoverов Чухно. — А буде бильше — мы ще бильше будемо довольни. Элеватор николе не забракуе принять те зерно, ни!»

Но не забывал — год обошелся без сухова.

